

Максим Горький

Лето



Максим Горький

Лето

«Public Domain»

1909

Горький М.

Лето / М. Горький — «Public Domain», 1909

«... Гляжу в окно – под горою буйно качается нарядный лес, косматый ветер мнёт и треплет яркие вершины пламенно раскрашенного клёна и осин, сорваны жёлтые, серые, красные листья, кружатся, падают в синюю воду реки, пишут на ней пёструю сказку о прожитом лете, – вот такими же цветными словами, так же просто и славно я хотел бы рассказать то, что пережил этим летом...»

Максим Горький

Лето

... Гляжу в окно – под горою буйно качается нарядный лес, косматый ветер мнёт и треплет яркие вершины пламенно раскрашенного клёна и осин, сорваны жёлтые, серые, красные листья, кружатся, падают в синюю воду реки, пишут на ней пёструю сказку о прожитом лете, – вот такими же цветными словами, так же просто и славно я хотел бы рассказать то, что пережил этим летом.

В тихий и лесной Тумановский уезд, в деревню Высокие Гнезда я был направлен одним знакомым. Явился туда под видом дачника, имея паспорт на имя Егора Петровича Трофимова, третьей гильдии купца. Прошлое моё было таково: жил в Москве, имел бакалейную лавочку; когда – после переворота – начались эти экспроприации, я со страха в уме помешался, год с лишком в больнице лежал, а теперь ищу для отдыха уединённой жизни. Вдов, одинок на земле и душевно расстроен. Эта история сразу хорошо поставила меня среди мужиков, – человек разорённый, да ещё и полоумный – что тут интересного для них?

Снял я келью у старой девы, бобылки, за девять рублей до покрова. Несколько дён кряду походил по деревне, чтобы все видели, познакомился с урядником, напоил его чаем, попросил о защите, о внимании. Всё идёт хорошо, он меня покровительственно одобряет.

– Ничего, Егор Петрович, живите, а мы тихим людям рады! – говорит он, поглаживая рябые щёки неверными, дрожащими руками. И речь у него – тоже неверная, вся пересечена оговорками и поправками.

– Места у нас для таких людей очень приспособленные – никаких заводов, фабрик в округе нет, то есть тут, верстах в двенадцати, некоторые химики дёготь гонят и ещё что-то, человек с тридцать рабочих, но – они всё больше здешние, пришлых немного, и волнений каких-нибудь теперь нет.

Маленький он, сухой, личико костлявое, щёки глубоко вспаханы оспой, а лоб почти не тронут ею, и на нём чутко, как мышинные уши, вздрагивают брови, похожие на вопросительные знаки. Глаза маленькие, мутные и беспокойные.

– Народ здесь больше раскольники, хотя, конечно, молодёжь, она уж ни богу, ни чёрту, а всё для самой себя, – рассказывает он. – Положим, я здесь недавно, с осени, а раньше в Займище служил, знаете – затон там, стоянка пароходов? – очень трудно! Особенно – зимой. Приходилось стрелять в людей, в меня тоже палили, лошадь пострадала, ногу вывихнул, а у меня – жена, троё ребят, – попросился, чтобы перевели. Конечно, и здесь – не на печке, бывают разные волнения, а всё-таки спокойнее – мужик ещё не отчаялся и жизнь свою ценит, а уж этот рабочий народ – вы, городской житель, сами знаете, каков он... Хотя они, фабричные, проникают во все щели, как бы ветер, примерно, однако – мы их замечаем...

Похож он на комара, начальник сей, а в голове у него, видимо, заплуталась какая-то непонятная ему мыслишка и шумит там, тихонько беспокоя господина Клеонова.

Много теперь надорванных людей, живущих прошлыми страхами, в ожидании будущего ужаса.

Деревенька маленькая, уютная, и хоть бедная, но урядливая. Стоит в широком кольце лесов, на холме, обегает этот холм полукругом бойкая и светлая речка Вага. Везде, куда ни глянешь, увалы и холмы, на них, словно ковры, пашни лежат; всюду, замыкая дали, стоят леса, и только в северном углу распахнулись они, выпуская на поляну сплавную реку Косулю, но она, приняв Вагу в берега свои, круто изогнулась и уходит снова в темноту лесов.

Уже на второй день своей жизни в Гнездах, гуляя по деревне, я заметил человека, который был мне указан, да и он чутьём понял, кто я.

Новый мой знакомец – сын старосты, Егор Досекин, человек крепкий и круглый, словно булыжник, с большой головой, серое скуластое лицо его точно из камня вырезано, и весь он похож на черемиса. На подбородке и скулах растёт тонкий и кудрявый желтоватый волос, узкие глаза косоваты и прищурены, смотрят недоверчиво и строго.

Он первый подошёл ко мне за деревней у мельниц, ткнул рукой в свою шапку, заложил пальцы за пояс и спрашивает:

- Любуетесь?
- Да. А вы здешний?
- Егор Досекин, ежели интересно.
- Очень, – мол, – рад. Записочка у меня к вам.
- Так.

Оглянулся, взял записку, прочитал, аккуратно и мелко разорвал её и, скатывая обрывки маленькими шариками, говорит:

- Всё в порядке. Недели две ждём вас. Вечерком я приду – хорошо будет?
- Вот и познакомились.

Вечером он сидел в келье моей, пил чай и рассказывал, в упор глядя на меня карими и словно кремнёвыми глазами:

– Всего нас четверо: я, Авдей Никин, Ваня Малышев, а четвёртый недавно явился – вашей хозяйки двоюродный племян, Шипигусев Алексей, пролетарий, он в городе на фабрике чернорабочим был, надорвался и живёт здесь впроголодь – потому на работу не способен, да и нет её.

Голос у него сочный, в книжных словах слышен насмешливый звон, будто человек сам над собой подтрунивает.

– Что мы делаем, спрашиваете? А вот соберёмся и говорим друг другу: хорошо бы, если бы кабы, вот бы... и другие умные и новые слова. Книг у нас почти нет, а которые брошюрочки имеем – их на зубок вытвердили. Самый бойкий у нас Алексей – он тут подростками занят, беседы с ними ведёт, читает им, а мы и до этого не дошли.

Он мне сразу понравился: говорит веско, слушает чутко, понимает быстро, никогда не торопится, а, должно быть, всё делает скоро. Книг читал маловато, но из тех, которые прочёл, выгрыз всё ценное, как мышонок мякиш из краяхи хлеба.

Понижая голос, он говорит быстрее и всё пристальнее смотрит на меня цепкими глазами.

– Теперь вот первое дело закон о выделе надо знать – могучий закон придуман, об него деревня вдребезги разбиться должна – с этого бы нам и начать. Как полагаете?

– С него и начнём, – отвечаю.

– Во-от! Вы его нам объясните во всей тонкости, а мы уж дальше расскажем. Вы сами-то как насчёт этого закона?

Ну, думаю, огорчу я тебя сейчас и, зайдя издалека, доказываю необходимость для человека порвать все цепи свои.

– Обняла, – говорю, – земля человека чёрными лапами своими и выжимает из него живую свободную душу, и вот видим мы пред собою жадного раба...

У него вспухли жилы на висках, покраснели скулы, пальцы дробно стучат по столу, и большая лохматая голова согласно кивает мне.

– Верно! – восклицает он, вскочил, опёрся руками о стол, наклонился ко мне. – Я иначе думать учился и в книжках иное читал, но верно ваше слово, товарищ! Мне двадцать шесть годов, и лет пять я в душе моей всякий древний бурьян без успеха полол. А после переворота – третий год уже пошёл – вижу, надобно мне всё с начала передумать. Невозможно новую жизнь строить из гнилых обломков, на старой этой нашей земле. Сказать вам думы мои не умею складно – скажу просто: человек должен быть освобождён из плена земли своей. Силу плена этого видел я. Вот, погодите, расскажу о временах перед первой Думой – ну и поганые

же дни были! До того исказились люди от жадности, так опьянели все – никто ничего не видит, ничего не хочет понять, одно кричат: земля, земли! Бит был я за мои речи в те дни, хотя и сам не понимаю теперь, что говорил, о чём? Видел одно – не туда народ повернул силу свою... были же силы, были! Но увязли ноги по колена в земле, и – всё встало, рассеялось, всосалось обратно в неё.

Он топнул ногой об пол и ткнул пальцем вниз, отирая покрытое потом, возбуждённое лицо.

– Прямо сказать – не на земле люди живут, а в самой земле, вплоть по маковку. Алексей верные слова говорит: сожрал мужичок Великую Революцию во Франции! Я про это ничего не знаю, не читывал, ну а верю, я могу это понять – он сожрёт!

Смотрю я на него и радостно думаю: «А ты, милый, видать, птица редкая и новая – пусть скажется в добрый час!» Нравится мне его возбуждение, это не тот красивый хмель, который охватит городского интеллигента на краткий час, а потом ведёт за собою окисляющее душу стыдное похмелье, это настоящий огонь жизни, он должен спокойно и неугасимо жечь душу человека до дня, пока она вся не выгорит.

До полуночи просидели мы с ним, и неохотно проводил я его за ворота, да и он ушёл тоже нехотя. Стоя у ворот, смотрю я, как твёрдо и споро шагает он вниз посреди улицы между тёмных изб, сонно и молча прижавшихся к земле. Уже отогретая солнцем весны, спит она и сладко дышит во сне запахами свежих трав. Хорошо было у меня на душе в тот час – люблю я чувствовать себя на месте и у дела.

Густо оросилось тёмное небо звёздами – иную едва видно, а без неё небеса беднее будут.

Товарищи Егора тоже оказались интересными людьми: Авдей Никин похож на ямщика со старой картины – кудрявый, большебровый, голубоглазый молодец высокого роста и силач, но лицо у него хмурое, над переносицей глубокая не по летам складка; молчалив он, а если говорит, то – кратко и всегда как-то в сторону. Ему двадцать три года, один сын у матери, земли имеет двадцать две сажени, лошади нет, поэтому землю он сдаёт, а сам ходит батрачить у богатых мужиков и по экономиям. А мать у него пьяница, и если сын не даст ей на водку, она выкрадет у него заработок ночью и пропьёт, а когда нет у него работы, она в кусочки ходит, – от этого, должно быть, и хмур парень. До книг он жаден, однако о прочитанном не любит беседовать; отдавая мне книгу, тихо и задушевно молвит: «Хорошо!» – или: «Очень хорошо!»

И в такую минуту глаза у него светятся ласковой, умной улыбкой.

Не один раз пробовал я расспросить его – что же именно хорошо? Но вижу – смущается он, отвечает нехотя, и я оставил расспросы до времени.

На общих чтениях, немедля устроенных нами, он ставит вопросы редко и почти всегда в таком роде:

– Вот указывается, что христианство объединило и бедных и богатых, а социализм – может?

– Значит – всегда это учение снизу, от народа шло? Отчего же рабочий, говорите, скорее нас принимает этот путь?

Ответы мои, видимо, удовлетворяют его; заметно у Авдея спешное стремление всё округлить, завершить и прочно поставить в душе. Мне это не очень нравится в нём. Вот тёзка мой, Досекин, он любит развёртывать каждый вопрос, словно кочан капусты, всегда добиваясь до стержня. А Ваня Малышев – паренёк из старой раскольничьей семьи, дядя у него известный в крае начётчик, грамоте Иван учился по-церковному, прочитал бесконечно много книг славянской печати, а теперь сидит над библией, ставя её выше гражданских книг.

– Оттого и прославили её книгой для ума трудной и опасной, что это книга народная, – тихо и упрямо доказывает он. – Вот видите, опять являются пророки правды народной, и хотя иначе, острее отточена она теперь, а всё та же древняя правда, самим народом одуманная.

Наружность у него невидная, пятаковая, трудно его отличить в горсти деревенских парней – всё как у всех! И только присмотрясь внимательно, замечаешь в серых глазах мягкое, спокойное упрямство, чувствуешь в его теле тугую пружину гибкой, но не ломкой воли.

Таких тихого характера людей наблюдал я, будучи солдатом; являются они перед начальством и говорят, покорные своей вере:

– Военное дело считаю грехом – ружья в руки не возьму!

Бьют их нещадно, страшают всеми страхами, держат в строжайших карцерах по месяцу и более, сажают в сумасшедшие дома, в тюрьмы и, не сломив, засылают людей куда-то на край земли, если не убьют.

Алеша Шипигусев – человек нервный, тоскующий, резкий сердцем и словом, угловатый, но крепкий, словно хрящ. Ума бойкого, но хочет объять всё сразу, спешит, хватается широко и рвётся, как старый бредень; видит юное бессилие своё, колотит себя кулаком по лбу, ругает, впадая в тоску, а потом дня на три уткнётся в книжку и снова бодр, горд, криклив – всё понял, всё узнал. Тут его надо вспрыснуть холодными словами, он рассердится, поспорит, потом посмеётся над собой и снова сядет за книжку. Знает для своих двадцати лет много, но в голове у него – как в новой квартире: привезено почти всё уже, а всё не на своём месте, ходит человек между вещей и стучается об них то лбом, то коленкой.

Спелись мы все быстро и дружно, только Авдей смущал меня: торопливое его желание поскорее свести концы с концами в душе своей не сливалось со сдержанным характером и недоверчивым блеском голубых глаз.

Вскоре после приезда моего в деревню у Никина разыгрался настоящий роман: оказалось, что на святках он сошёлся с младшей дочерью богача Астахова, Настей, и теперь она была непраздной от него, а отец начал истязать её, допытываясь, кто соблазнил. О ту пору Авдея не было в деревне, но узнав, что дело открылось, бросил он работу, явился к старику Астахову.

– Это я Настин муж.

Богатей обезумел, кричит:

– Нищий! Еретик!

Бросился на него с топором, но Авдей во время схватил тестя, говорит:

– Выдай Настю за меня. Что тебе делать, кроме этого?

Тут Астахов согласился, понимая, что если отказать парню, так он сейчас изломает ветхие стариковские кости, а сам в ту же ночь отправил Настасью куда-то в скиты и принялся травить Никина: то и дело таскают парня к земскому, к становому, в волость, и никто в округе не берёт его на работу.

Тогда Авдей, спокойствия обычного не теряя, пожелтел весь, глаза прищурил и сквозь зубы рычит:

– Сожгу! Убью!

Уговариваем:

– Что ты! Каторги захотел?

– Нельзя им уступать, ни в чём нельзя! – кричит парень и мечется, как волк в западне. – За пуговицу буду драться до смерти! И не быть тому, чтобы он командовал Настей, – она мне по чести жена, я её найду, выкраду, сам от него спрячу...

Дело совсем неисполнимое. Найти девицу и украсть – не велик труд, так! Но куда же он её спрячет по этим местам, где даже число горшков в каждой избе известно на пятьдесят вёрст кругом? Жизнь прозрачная, – кроме тараканов – всё на счету.

Досекина в те дни не было с нами, его земский на неделю под арест посадил. Алексей и Ваня решили помогать Никину, пришлось тогда вступить в дело мне; достал я девице паспорт, указал в губернии людей, которые не откажут приютить её до родов. Никин её выкрал, а Алёша отвёз в город; там её после родов пристроили кормилицей к хорошим людям.

Авдей тоскует, жалуется:

– Не могу бросить несчастную мать мою, – говорит он, скорбно понуря голову, – а то бы и я ушёл в город.

– Тяжело вам с матерью? – спрашиваю. Он сидел у меня в тот час, пришёл благодарить за помощь, чужак.

У него брови прыгают, губы дрожат.

– Легко ли! – говорит он, словно задыхаясь. – Горько и стыдно – чем поможешь? Болен человек, лишён ума. Судите сами, каково это видеть, когда родимая твоя под окном милостыню кланчит, а то, пьяная, в грязи лежит середь улицы, как свинья. Иной раз думаешь – умерла бы скорей, замёрзла бы или разбилась насмерть, чем так-то, на позор людям жить! Бывает тоже, что совсем лишаясь терпенья, тогда уж бегу прочь от неё – боязно, что пришибу или задушу всердцах.

Сидит, согнулся, охватил голову ладонями, и кажется, что курчавые волосы его дыбом встали. И вдруг, помолчав минуту, он исподлобья смотрит на меня, ласково усмехаясь.

– А вспомню, – новым голосом тихо и благодарно говорит он, – каково ей было со мной – и уж не знаю, что сделать для неё, сам за водкой бегу – на, пей, отдыхай! Отец у меня зверь был, старшего брата в могилу побоями свёл, сестра сбежала в город и пропала там без вести, может, в гулящие пошла... Она, мать-то, всегда вступалась за меня, оттого, может, и жив я остался... зато отец бил её так, что даже вспомнить жутко! И, бывало, приползёт она ко мне, избитая, в крови вся, а сама спрашивает, едва шевеля языком: «Что, Авдеюшка, больно он тебя?» Можно ли это забыть!

Голос его звучит глухо, как у больного, и слышу, что в горле у парня слёзы кипят.

Странно и неловко видеть богатыря такого плачущим, однако – я эти слёзы понимаю: и у меня отец не ласков был, и мою мать колотил он не жалеючи, а ей, милой старушке, я обязан тем, что захотел правду искать и нашёл.

– Больно ей, стонет она, – тихо рассказывает Авдей, – а сама меня учит: «Ты-де не сердись на него, он сам-то добрый, да люди злы, жизнь-то тяжела ему, очень уж жизнь наша окаянная!» И плачем, бывало, оба. Знаете, она мне и по сю пору сказки рассказывает, коли ещё в памяти и на ногах держится. Подойдёт ко мне, сядет и бормочет про Иванушку-дурачка, про то, как Иисус Христос с Николаем и Юрием по земле ходили...

Он тихо и конфузливо засмеялся.

– Смешно мне, конечно, а слушаю, ничего!

Никогда потом не видал я его таким хорошим, как в этот удачный час.

Астахов, конечно, разъярился, забегал по начальству, начал искать чадо своё, но, пошумев недели с две, предал дочь анафеме и бросил поиски. Да и Авдея перестал донимать, потому что однажды на сходе мирском тот сказал ему:

– Эй, Кузьма, ты меня больше не трогай, слышал?

Старик закричал, миру:

– Смотрите, будьте свидетели мне, грозитя он! Спросите-ка его, чем он грозитя, а?

Мир молчит, смотрит, ждёт – кто окажется сильнее.

– Я одно говорю тебе, Кузьма, – повторил Никин, – ты меня не тронь!

Видел я это: стоит он на аршин выше старика ростом, стоит прямо, голова без шапки, брови сдвинуты, лицо открытое, спокойное. А спокойствие – сила; топор спокоен, а рубит дуб под корень.

Обрадовался я, что прошла эта история быстро, – мешала она, отводя от дела в сторону.

Когда воротился из-под ареста Досекин, был у меня с ним значительный разговор; зашёл он ко мне и, посидев немного, спрашивает:

– Правду Ваня мне сказал, что Алексей с Никиным пошли Настасью Астахову красть, а вы будто одобряете их?

– Одобрять не одобряю, а помочь пришлось, – говорю. – Тяжело Авдею-то.

Он, аккуратно свёртывая папиросу, заметил:

– На тяжёлом силу и пробуют.

Окутался сизыми дымами и молчит. Чувствую – что-то ему не нравится.

– Разве, – мол, – вам не жалко товарища?

Он прищурил глаза и, глядя на окурочок папиросы своей, спокойно говорит:

– Жалко. Человек полезный. Только это – его дело, и нам оно ни к чему. Я так смотрю: или пни корчевать, или горох воровать – что-нибудь одно.

И снова усиленно задымил. Курит он какую-то ядовитейшую махорку, дым от неё столь жестокий, что комары и мухи, влетая в зеленоватые струи его, кувырком падают на землю. А он хвастается:

– Замечательный табак! Стекло разьесть может...

Помолчав, Егор спрашивает:

– А как вы, товарищ, думаете – вот теперь мы тут кое-что прочитали, привели мозги в движение – не начать ли нам полегоньку пробовать наши силы и пригодность к делу? Вы, конечно, оставайтесь в стороне, а нам бы, здешним, думаю, пора. Для проверки больше – сколько знаем, и что нужно знать, и какие вопросы будут ставить нам.

Подумав, я говорю:

– Соблюдая осторожность, пожалуй, можно.

Он отбросил окурочок и просиял.

– Вот и хорошо! Дело, видите, в том, что всё ж таки мы здесь народ замеченный: одни на нас косятся, другие как бы ожидают чего-то. Тут есть такие задетые за сердце люди... Заметили вы – мимо вас старик один всё прихрамывает? Малышеву Ивану двоюродный дядя, начётчик, Пётр Васильевич Кузин – слышали? Он уже что-то понимает, как видать, и племянника выспрашивал про вас, и ко мне подъезжал не однажды. Человек внимательный.

Чувствую, что Досекин хочет что-то сказать и не решается. В словах у него явилось нечто вычурное и необычно для него церемонное.

– Считаете опасным его? – спрашиваю.

– Остерегусь сказать, – ответил Егор, пристально глядя на меня кремнёвыми глазами, – думается мне, что он к вам придёт. Я вам расскажу про него, что знаю, а вы, поговорив с ним, сами увидите, каков человек.

И рассказал: начётчик Кузин имеет славу человека, знающего писание, но дерзкого и неуживчивого. Всю жизнь кормился около богатых, на выборах в первую и вторую Думу тянул их руку и по сей день числится в чёрной сотне. Года полтора тому назад в губернском городе был арестован его зять, сидел в тюрьме, теперь осуждён и сослан на поселение. Кузин ездил хлопотать за него, но без успеха, а хлопоты эти были поставлены ему в вину; лесовладелец Скорняков, окружной богатей и воротила, отобрал у него за долги избу и пчельник. Кузьма Астахов говорит на деревне и по округе, что старик заразился, дескать, крамолой, и теперь старый этот человек бродит где день, где ночь, осторожно поругивая бывших своих дружков и заводя себе новых среди деревенской бедноты.

Рассказав мне эту историю, перечислив новые знакомства Кузина, Досекин, усмехаясь, намекнул:

– Кажется мне, что старик, будучи обижен, затевает что-то на свой страх.

– А что?

– Да так... вообще, бубнит, бормочет, – неопределённо сказал Егор и, вспомнив какое-то дело, поспешно ушёл, а я остался размышлять – зачем всё это рассказал мне и чего желает мой тёзка?

В Гнездах всего тридцать два двора, я прожил здесь уже два месяца с лишком, знаю всех хозяев, все истории, связи, степени родства, знаю и перечисленных Досекиным друзей старого начётчика.

Нил Митрич Милов – зовётся в деревне Мил Милычем за свой тихий нрав. Мужичок маленький, задумчивый, даже и в красной рубахе он серый, как зола, ходит сторонкой, держится вдали от людей, и линючие его глаза смотрят грустно, устало. И жена у него такая же, как он, – молчаливая, скромная; две дочери у них, семи и девяти лет. Перед пасхой у Милова за недоимки корову свели со двора.

Савелий Кузнецов – человек изувеченный, едва ходит: работал прошлой весной в городе на пивном заводе, и там ему пьяный казак плетью рёбра перебил. Встречался я с ним часто – он любит на бугре у мельниц лежать, греясь на солнышке. Мужчина мне неизвестный: он не столько говорит, сколько кашляет.

Затем идёт Михайло Гнедой – до войны был мужик зажиточный, но за время войны и плена старший брат его Яков попал в беспорядки – жгли усадьбу князя Касаткина – был поранен и скончался в тюрьме. Жена его тотчас вышла замуж за Корнея Мозжухина. Корней прибрал к рукам долю Михаила, а жену его выжил из дому, ушла она в город и пропала там. Возвратясь из плена, Гнедой оглянулся вокруг и начал пить, пропилил всё, что мог, да к тому же Мозжухину и нанялся в батраки. Каждый праздник ходит по улице пьяный, ругает своего хозяина и всех богачей, а они на него жалобы подают, и то волостной, то земский начальник сажают солдата в холодную.

«Что ищет и находит старый Кузин у этих порушенных жизнью людей?» – думаю я, сидя под окном.

Душно. Висят над деревней тучные облака, пробегает вдоль улицы суетливый ветер, взмётывая пыль, где-то над лесами гулко гудит гром, и чёрная ночь лениво вздрагивает в синих отблесках далёких молний. Слышу мерный и тяжкий топот коня – это едет по деревне стражник Семён, отставной гренадёр; деревня боится его, считая полоумным. Человек ночной, угрюмый, крупный, ои сух лицом, чёрен, не улыбнётся, не мигнёт – точно идол чувашский, резанный из дерева. Ночи напролёт шагает по деревне и вокруг неё тяжёлый серый конь, а стражник, чернобородый и прямой, качается в седле с винтовкой на коленях, тёмными глазами смотрит вперёд и поверх головы старого коня, как бы выслеживая кого-то вдали.

Властью своею над людьми он почти не кичится, мужиков не задевает, и днём его не видно – спит. Только когда подерутся мужики и жёны их позовут его – выйдет, тяжёлый, сонный, остановится около драчунов, долго смотрит на них туманными глазами и, если они упадут на землю, молча пинает их толстою ногой в тяжёлом сапоге.

Весь он какой-то тёмный, всегда угнетён угрюмым молчанием, и никому не хочется спросить его – о чём он молчит?

Досекин рассказал мне всё, что известно о нём: служил он в Москве, и когда разгорелось там восстание, видимо, оно ударило солдата. Весной после переворота явился он в деревню и тогда был совсем не в себе: трезвый прячется ото всех, ходит согнув шею и уставя глаза в землю, а напьётся – встанет середь улицы на коленки и, земно кланяясь во все стороны, просит у людей прощения, за что – не говорит. Тогда мужики ещё не сократились, злоба против солдат жива была, и они издевались над пьяным.

– Что, сволочь? Напакостил, а теперь самого с души рвёт?

И нет-нет да кто-нибудь и ударит его, а мальчишки камнями в спину лукают.

Даже брат его, злой и кляузный мужик Никита Лядов, стал советовать:

– Тебе бы, Семён, в город уйти, а здесь ты ни к чему, как зуб вырванный!

Тогда гренадёр покорно ушёл из деревни, и ушёл ночью, никем не замеченный, никому не сказав, куда идёт, так что Лядова семья испугалась, думая, не порешил ли он себя, и двое суток Лядовы ходили вокруг деревни, искали его. Явился он здесь в прошлом году в страдное время – хлеб бабы жали и видят: по дороге из города идёт большой серый конь, а на нём сидит, опустя голову, воин, за спиной ружье, на боку плеть и сабля. Едет мимо людей – не кланяется,

здороваются с ним – не отвечает, сразу всех напугал, да вот с той поры и качается в деревне, никому не понятен.

Против моего окна встал. В темноте он словно облако, опустившееся в пыль земли. Мне чудится, что стражник смотрит в мою сторону, и это – жутко.

Но вот раздаётся глухой окрик:

– Н-но, бр-ревно!

И снова тяжёлые копыта чётко топают по сухой земле.

Когда я лёг спать – мне подумалось:

«А может быть, он хотел поговорить со мной?»

Наступало деловое летнее время, товарищи мои целыми днями живут в работе, собираемся мы редко, читать им некогда, мне приходится выслеживать каждый свободный их час. Хожу с ними в ночное и там ведём устные беседы, по праздникам устраиваем чтения в лесу – готовимся к осени.

Алёша свободен от трудов, занятия свои с подростками ему пришлось сократить – и у них нет времени. Он живёт со мною, на дворе в сарайчике, как бы под видом работника моего, самовары ставит, комнату метёт, ревностно гложет книжки и, нагуливая здоровье, становится более спокоен, менее резок. Ходит в уездный городок – тридцать две версты места, – книги, газеты приносит от указанных мною людей, и глаза у него смотрят на мир всё веселее.

Обед нам стряпает чернобровая дама, солдатка Варвара Кирилловна, женщина лет двадцати двух, статная, здоровая – очень интересный человек: разговаривает она больше улыбками красных и сочных губ да тёмных, насмешливых глаз, держится строго – попробовал было Алёша шутки с нею шутить, но быстро отстал и начал относиться почтительно, именуя её по отчеству.

Я его спросил:

– Что, Алёша, как будто ожёгся ты?

Сконфуженный немножко, он серьёзно отвечает:

– Было, Петрович, хоть и не очень, ну как раз впору однако! Знаешь, женщина неглупая и немного грамотная, надо бы и ею заняться!

Я предупреждаю:

– Ты всё-таки не весьма откровенно беседуй с нею.

– Это бы тебе побеседовать, – усмехаясь, говорит он, – а меня она высмеивает.

Попробовал я, но, кроме ласковых улыбок, никаких ответов не получил. Присматриваюсь.

Узнал, что вдовееет она уже второй год – муж у неё чем-то проштрафился, и осудили его в дисциплинарный на два с половиной года без зачёта, так что увидит она его – коли увидит – не раньше как лет через пять. Дурных слухов про неё нет, хотя парни вьются около неё, как шмели, и Егор Досекин, заметно, всех упорнее. Из мужнего дома, от свёкра, она ушла и живёт со своей матерью, полуслепой старушкой, великой мастерицей пояски ткать и лестовки (кожаные чётки у старообрядцев. – Ред.) делать. Сама Варвара на все руки мастерица: и платья невестам шьёт, и бисером ризы нижет на иконы, и ткать ловка, но – этим не проживёшь, приходится ей заниматься подёнщиной. Есть у неё брат, работает на лесопилке верстах в сорока, пьёт горькую и в деревне почти не бывает.

Однажды, перед каким-то праздником, пришла она мыть пол, осмотрела комнату и, неодобрительно качая головою, говорит:

– Эко книг-то накопили!

И верно, многовато их набралось. Натаскал Алёша из города и такого, что не нужно нам пока, да и небезопасно держать.

– Да, – говорю, – действительно!

А она, подтыкая подол и не глядя на меня, вполголоса замечает:

– В деревне не очень любят книги.

– Не все, – мол, – не любят.

Она значительно и как бы намекая ворчит:

– Вот газет мужики не боятся, а книги – считают опасными.

Тогда я спрашиваю её прямо:

– Разве говорят что-нибудь про мои книги?

– Не слыхала, – отвечает. – Ну, уходи – я примусь.

И наклонилась над ведром. А когда я вышел в сенцы, говорит:

– Всё-таки, которые лишние – не держать бы дома-то.

Обернулся я, встал в двери – странно мне. Согнувшись, она уже плещет водой и скользит по мокрому полу, сверкая белыми икрами. Смущённо отошёл прочь, и с того дня легла она мне на душу.

Уж доведу до конца эту историйку, перескочив через многие события дней. Вскоре после сего разговора гулял я в праздник по лесу, готовясь к очередной беседе с товарищами, вышел на поляну и вижу: сидит она под деревом, шьёт что-то, а тут же её корова с телёнком пасётся – недавно отелилась, и Варвара ещё не пускала её в стадо.

День жаркий, поляна до краёв солнцем налита, в густой траве дремлют пахучие цветы, и всё вокруг – как светлый сон. И она, в тени, тоже как большой цветок – кофта красная, юбка синяя, и тёмные брови на смуглом лице. Смотрит на меня и ласково улыбается, сощуривая зеленоватые глаза.

– Гуляешь? – спрашивает.

– Да, – мол.

– По годам-то тебе, – говорит, посмеиваясь, – с женой давно пора бы гулять, а ты всё с книгами. Это о чём книга?

– О крестьянстве. Так и называется: «Крестьяне на Руси».

– Ишь, – говорит, – сколько написано!

Неловок я с женщинами, хоть и солдат и в городе жил, а нет у меня лёгкости в обращении с ними – может быть, это потому, что до той поры самой близкой и дорогой мне женщиной была мать моя.

Стою я против Варвары, а она, глядя на меня снизу вверх, спрашивает:

– А колдунских книг нет у тебя?

– Это о чём?

– О чём! О колдовстве! Как приворотные зелья варить.

– На что тебе, – говорю, – зелья эти? Вон ты какая хорошая!

Почему-то грустно мне и неловко перед ней, а она – смеётся тихонько.

– Разве хороша?

– Приворожишь и без колдовства.

– Да ну?

– Будто не знаешь?

– Ей-богу, не пробовала!

– Оттого, что нужды нет, сами парни льнут.

Весело и тихо смеётся.

– Видно, оттого! – говорит.

В лесу человек упрощается: всё вокруг него просто, всё живёт открыто – и цветы, и птицы, и разное дерево.

Спрашиваю:

– Скучно тебе без мужа-то?

– А ещё бы!

Прищурила глаза. Взгляд у неё острый, щекочет он мне губы и манит сесть рядом с нею.
Сел.

Она меня толкнула плечом и тихонько, ласково спрашивает:

– Али поцеловать меня захотелось?

Вздрыгнул я.

– Да, – говорю.

– Так ты бы, – говорит, – поцеловал!

А потом, лёжа у меня на коленях, смотрит она в лицо мне и мило говорит:

– По душе ты мне, Егор Петрович!

– Спасибо, мол, Варя!

– Смотрю я на тебя: такой ты простой со всеми и такой скромный, будто и не мужчина.

Хороший, видно, ты человек!

Смущают меня её похвалы, а приятно слышать их.

– Не очень я красив, – говорю, глядя её голову.

– Это ничего! – отвечает. – Красоту даёт любовь. Опять же сказано: красна птица перьем, человек ученьем.

Всё больше нравится мне она в речах её, и так хорошо на душе у меня, словно с покойной матерью встретился.

Встали, вышли на солнышко, ходим плечо с плечом, смотрит на нас корова круглым глазом и ласково мычит, кланяются золотые метёлки зверобоя, пряным запахом дышит буквица и любимая пчёлами синь. Поют весёлые птицы, гудят невидимые струны, сочный воздух леса весь дрожит, полон ласковой музыки, и небо над нами – синий, звучный колокол из хрусталя и серебра.

С того дня мы и зажили потихоньку в крепкой дружбе и горячей любви.

Сначала я думал, что она не серьёзно затеяла это, а так, ради удовольствия, но вижу – чем дальше, тем более внимательна она ко мне, а однажды, ласкаясь, говорит:

– До тебя я людей-то словно половинками видела, право! А теперь всё круглее стало.

– Ну, – говорю, – я рад этому. Больше видишь – больше любишь.

Смеётся.

– Тебя?

– Всё житьё.

– То-то!

А в другой раз, озабоченная, молвила:

– По округе пошли про тебя слухи разные, пожалуй – вредные тебе. Полола я огород на скорняковской мельнице, был там Астахов, и говорили они со Скорняковым и Якимом-арендатором, что ты молодых парней не добру учишь, запрещёнными книгами смущаешь и что надо бы обыск сделать у тебя.

– Вот как!

– Да.

– А тебе боязно за меня?

– Ещё бы! Теперь вон какое время – то и дело в тюрьму таскают людей.

– С этим покуда ничего не поделаешь. Будут таскать.

Она вздохнула и, помолчав, предлагает:

– А ты бы, коли у тебя опасные книжки есть, дал бы их мне. Уж я так спрячу – вода не найдёт!

Избёнка её стоит на отлёте, у самой околицы, и за огородом, саженях в двадцати, – лес.

Объясняю ей, что, конечно, хорошо бы спрятать кое-что у неё, но – нельзя: нельзя вовлекать человека в дела, опасного смысла которых он не разумеет и может за них жестоко потерпеть.

Опустив глаза, она тихо говорит:

– А ты бы смысл-от объяснил мне, попробовал, может, и я поняла бы чего-нибудь.

И, укоризненно посмотрев на меня, продолжала:

– Думаешь, не догадываюсь я, зачем ты здесь?

– А зачем?

– Парней обучать, конечно!

Мне стало стыдно пред нею, и после этого разговора я начал приучать её к чтению, давая разные простые книжки. Сначала пошло туго, и долго она стеснялась сказать, что не понимает прочитанного, а потом как-то сразу вошла во вкус, полюбила книжки и, бывало, горько плачет над судьбою прикрашенных писателями книжных людей.

Теперь – о Кузине.

Действительно, дня через три после разговора с Егором явился он ко мне вечером, на закате солнца. Сидел я один и пил чай – вдруг под окном высокий голос спрашивает:

– Дома ли хозяин-то?

– Милости прошу, пожалуйста!

И вот, согнувшись в три погибели, он ныряет в мою горенку, удобно усаживается за стол и сразу заводит бойкую, развязную беседу.

– Глядел я, глядел на тебя – и надумал: дай-ка пойду, познакомлюсь, какой там дачник-задачник живёт-то у нас?

Старичище большой и нескладный: худой, сутулый, руки длинные, хромота – на левой ноге плюсна обрублена по тому случаю, что, будучи молодым, шёл он ночевать к мужней жене и попал в капкан волчий, приготовленный мужем для него.

– Человек я, – говорит, – сызмала любопытный и всю жизнь любопытством живу, а про тебя идёт слух, будто ты хорошо начитан, – как же мне такой случай упустить-то?

Голова у него большая, лысая, лицо строгое, жёлтое и глаза россыпью – то колют тонкими, как иголки, хитрыми лучами, то вдруг округлятся и зелено горят, злые и насмешливые, рыжеватая с проседью борода растёт кочьями, буйно.

Отпил чай, упёрся длинными руками о скамью и, освещённый красными лучами вечернего солнца, надломленно подался вперёд.

– Вот и пришёл послушать – как о делах деревенских думает городской человек!

Я говорю:

– Лучше вы мне расскажите, что вы думаете, – вы меня старше, вам больше знать!

– Знатьё-то, – говорит, – у меня есть, да не кругло, концы с концами не сходятся! Мы, деревенские, против вас – люди малого ведения, и нам ваше слово, как зерно весной, дорого.

С час времени занимались мы тем, что осторожно охаживали друг друга церемонными словами, ожидая, кто первый откроет настоящее своё лицо, и вижу я – старик ловкий; в пот его не однажды ударяло, а он всё пытается меня: то начальство осудит за излишние строгости и за невнимание к нужде мужика, то мужиков ругает – ничего-де понимать не могут, то похвалит деревенскую молодёжь за стремление к грамоте и тут же сокрушается о безбожии её и о том, что перестала она стариков слушать, хочет своим разумом жить. С одного бока пощупает и с другого, и сзади заходит, и всяко, а напрямки – не решается.

Я, где можно без ущерба, поддакиваю, а больше молчу, следя за игрой его глаз и морщин на живом лице.

В открытое окно жарко дышит летняя ночь, слышен тихий лай собаки, и гулко ухает ботало на реке.

Чувствую – сердится старик на меня, думаю, жалеючи его:

«Говорил бы ты сразу – чего надо тебе!»

А он крепко трёт лысину и уже несколько устало, с досадой говорит:

– Главная беда – боязлив народ, все друг друга опасаются, мысли свои скрывают. И живут в разброде.

– Разговаривать-то, – мол, – запрещается, да и строго.

– А коли жизнь стала строже – человек будь сильней, – твёрдо выговорил он. – Ты как думаешь, буря эта по земле прошла – не задела она мужика-то? Только опаматоваться ему не дали, скоро больно рот заткнули кулаком, размять кости не успел – связали и снова командуют: лежи плашмя вниз носом-то! Он лежит – как ему иначе? Чуть приподнял голову – бьют. Он лежит смиренно, а о чём он думает – никому это неведомо. Однако сообрази, можно ль ему не думать, когда случилось эдакое странное дело – вдруг говорят ласковым голосом: помоги, мужичок, пришли своих-то людей для управления делами, мы больше не можем, и всё у нас останавливается. Он – послал. Прогнали: нет, эти не годятся, ты других собери. Других! Это, брат, было очень занимательно, когда других потребовали; наша деревня, Малинки, Василево, Фомино – в один голос решили: Якова Гнедого выборщиком-то. А Яков-то этот – самый дерзновенный мужик на всю округу, на дерзости и жизнь потерял – знаешь?

Старик понизил голос, заглянул в окно и снова нагнулся ко мне, крепко держась руками за край скамьи.

– Шёл общий наказ – партионных выбирай, которые решительно говорят, чтобы всю землю и всю волю народу, нечего там валандаться-то! Ну, выбрали. Нашего депутата уж и назад не вернули, а прямо в Сибирь. И опять: не годятся, других! Ты полагаешь – не задумался мужик над этим? А как стали выбирать третий раз, и повалил мироед, богатей-то...

Он остановился, замолчал и уставился на меня круглыми глазами, пряча в бороде нехорошую усмешку.

– Я в Думу эту верил, – медленно и как бы поверяя себя, продолжал старик, – я и третий раз голос подавал, за богатых, конечно, ну да! В то время я ещё был с миром связан, избу имел, землю, пчельник, а теперь вот сорвался с глузду и – как перо на ветру. Ведь в деревне-то и богатым жизнь – одна маета, я полагал, что они насчёт прав – насчёт воли то есть – не забудут, а они... да ну их в болото и с Думой! Дело лежит глубже, это ясно всякому, кто не слеп... Я тебе говорю: мужик думает, и надо ему в этом помочь.

Он встал, посопел носом и предлагает:

– Ты прикрой-ка окошко-то!

Я прикрыл. В сумраке вижу его озабоченное лицо, смешно мне немного и приятно, что, наконец, человек выходит на прямой путь.

– Вот что: я – человек открытый и люблю прямоту; это правда, спроси кого хошь. Я пришёл с честной душой, ты верь, я тебе объясню это. Чего я добивался в жизни – ей-богу, не знаю! Мог быть богат, и не один раз, через баб – ну пропустил все сроки однако. Стукнуло полсотни годов – думаю: «Давай, буду жить спокойно на пчельнике своём, пора! И пусть меня никто не трогает». Выдал дочь замуж за хорошего парня, отдал ии некоторые деньжонки, сот пяток – всё хорошо! Вдруг начался этот всеобщий переворот жизни – Думы, выборы, споры... тут зять мой ухнул в тюрьму, дочонка за ним в ссылку пошла, всё это одно на другое – с головой завалило меня-то. Оглянулся, гляжу – исчезоша, яко дым, надежды моя на спокойный конец дней, ничего у меня нету, всё отобрано, и дружки мои, солидные люди, отрицают меня, яко еретика и крамольника, попрекая за хлопоты о зяте – таковский-де, и не должен был я заступаться за него, да! А он, зять-то, умница и... ну ладно, это дело домашнее! И вот я, значит, остался ныне, яко вран ноцный на нырище, брожу с места на место, думаю...

Закрыв он глаза и, качая голым черепом, молчит. Мне его жалко: видимо, не глупая и живая душа, а зря пропала.

– Как же, – мол, – Пётр Васильевич, учительство ваше? Говорят – вы известный начётчик?

Усмехнулся он.

– Ныне, – говорит, – этим сыт не будешь. Теперь иной родися бог: раньше молились – отче наш, иже еси на небеси, а теперь – ваше вашество, иже еси в городе, сохрани и избави нас от злаго мужика!

И, снова жутко посмеиваясь, шепчет в темноте:

– Был начётчик, да, видно, вылинял, как старая собака на купцовом дворе. Ты, Егор Петрович, пойми – каково это полсотни-то лет отшагать, чтобы дураком-то себя встретить, это, милый, очень горько! Был, был я начётчиком, учил людей, не думая, как скворец, бормотал чужое, да вот и разболтал душу свою в мирской суете, да! И верно некоторые говорят – еретиком становлюсь на склоне дней-то! Мне бы, говорю, время душа спасать, а я будто совсем обезумел.

Замолчал. Треплет бороду свою чёрными пальцами, и рука у него дрожит. Смотрю на его тусклый череп, и хочется сказать ему бодрое, ласковое слово, обидно мне за него и грустно, и всё больше жалко пятидесяти лет бесполезной траты человеческого сердца и ума.

Начал говорить ему о причинах унижения человека, о злой борьбе за кусок хлеба, о невозможности сохранить себя в стороне от этой свалки, о справедливости жизни, нещадно карающей того, кто только берёт у неё и ничего не хочет отдать из души своей. И о новых путях жизни говорил, как соединить народ, собрать разбитого одиночеством человека. Говорю осторожно и мягко, как могу, ибо понимаю, что предо мной разум вдвое старше меня, много опытнее. Он, прислонясь к стене, слушает меня, не прерывая, ни о чём не спрашивая, а когда кончил я – долго и тягостно молчал.

Потом, как бы вдруг проснувшись, встряхнулся, начал потирать руки свои так, что скрипела кожа, и заговорил, вздыхая:

– Да, милый человек, это ты сказал хорошо. Хо-о-рошо! Ну и я теперь прямо скажу – я ведь догадался, что партийщик ты, я, брат, это понял! Тут не один я разрушился душой – есть таки люди, взыскующие града-то. И до тебя были – Егор Досекин, примерно, Ванюшка; племянник мой, Алёха... Конечно, они молодёжь, нам с ними не рука идти... то есть опасны они кажутся по молодости своей, и мы их с пелёнок видим, ну – и как-то доверия нет. Но, когда прибыл ты и они сейчас же встали около тебя, – тут я догадался! Молчу, всё-таки при-сматриваюсь, и другие тоже следят. Я им говорю: вы, братцы, и виду не подавайте, всё это – дело тонкое, и можно испортить, – значит, не испугать бы тебя-то. Видим, что твёрдо и без страха ходите вы по земле. И вот Савёл Кузнецов подал совет: видно, опять начинается, нам бы пойти к ним-то да спросить – в чём дело? Ну, вот я и пришёл.

Он тихонько засмеялся, взмахнув длинными руками.

– Знаешь, как ребятишки: одни играют, а другие подошли да и просят – примите и нас!

Мне нравится его торопливая речь, бодрый голос, шутка и частое крепкое токанье. И я думаю:

«Как-то вспыхнут в нашем костре трухлявые пеня и корни деревни? Сколько могут дать они света людям и тепла?»

– Ничего иного не остаётся живому человеку, как то, что ты говоришь, – задумчиво размышляет старик, стоя среди комнаты и поглаживая бороду.

– Значит, – шутливо спрашиваю я, – в социалисты поступаете, Пётр Васильич?

– Эх, родимый! – вздохнув, сказал он. – Как придётся к гузну узлом – и в социалисты пойдёшь! Мне-то что – я один, по многим путям хаживал, пока на этот набрёл; видно, и впрямь – коли смолоду не добесишься, так на старости с ума сойдёшь, – мне что, говорю, а вот некоторых жалко! Не пойдут они по новому-то пути, а на старом месте нельзя стоять – согнаны! Ты гляди, как дело-то идёт: раньше резал деревню крестьянский банк, а теперь вот – выдел вдосталь крошит. Что же будет, куда деваться народу-то? Закачалась Русь родимая! Ну, как будто поумнела тоже – уж не туда клонит, куда враг гнёт, а туда, куда правда ведёт.

И после этих слов он стал спокойнее и солиднее.

Уже светало, когда он, прихрамывая, ушёл от меня.

Радостно встревоженный этой беседою, вспоминая сказанное нами друг другу, я открыл окно и долго смотрел, как за тёмной гривою леса ласково разгорается заря, Тлеют чёрные покровы душной ночи, наливается утренний воздух свежим запахом смол. Травы и цветы, разбуженные росой и омытые ею, сладко дышат встречу заре, а звёзды, сверкая, уходят с востока на запад. Яростно споря друг с другом, поют кочета, звонкие голоса вьются в воздухе свежо и задорно, точно ребячий гомон.

Воскресенье, деревня ещё спит, но уже порою раздаётся сонное мычание скота – звук густой, мягкий и добрый. Проснулись воробьи и прыгают по дороге, брызгая пылью, торопливо пролетает сорока, а потом, вдали, слышен её трескучий крик. Скоро в Малинках ударят к обедне.

К вечеру собрались мы пятеро в скорняковском лесу, Я подробно рассказал товарищам о беседе с Кузиным.

Алексей сейчас же на дыбы встал.

– К чертям! – кричит. – Ещё наплетут на нас, чего нет, да и выдадут всех! Разве можно верить Кузину? Что вы! У него стражник Семён – первый друг!

Ваня робко возражает:

– Дядя Пётр – человек крепко обиженный и вообще он – хороший старик, ей-богу! А что со стражником дружит – так он же его с малых лет знает, грамоте учил. Нет, Алёша, ты вот что пойми – это и есть начало...

Никин задумчиво говорит:

– Да! Вот оно как, и стариков схватывает! Звать, правда, что всякая жива душа калачика хочет.

Алексей ему кукиш к носу суёт.

– Вот им калачик!

– Не о том говорите вы! – вступился Егор. – Тут прежде всего надо сообразить, чем они могут быть полезны нам.

Алексей твердит своё:

– Будут полезны, как цепи железны. Вот и всё!

Начался шум и спор. Алексей с Иваном схватились так, что тихий Ваня даже покраснел весь. Никин хочет их помирить, но, видимо, сам не знает, что сказать, говорит на два и тоже сердится. Я – молчу, это не мне решать. А Егор непрестанно курит, слушает всех и тоже молчит.

Сидели мы у опушки леса над рекой. Поздно было, из-за Малинкиной колокольни смотрело на нас большое, медно-красное лицо луны, и уже сторож отбил в колокол десять чётких ударов. Всколыхнули они тишину, и в ночи мягко откликнулись им разные голоса тайных сил земли.

Устали спорить, а ничего не решено. Ваня грустно говорит:

– Ежели подышать на человека теплом нашей веры – должен он ожить!

– Какой ты Иван! – кричит Алёша. – Ты Марья, Агафья!

А Никин бормочет:

– Ежели на совесть взять их...

Егор Досекин встал на колени, отбросил папиросу и, глядя на всех сразу, решительно заговорил:

– Горазды мы спорить, а всё-таки пора кончать, вечер-то убили. Взвесьте вот что: Кузин человек известный, полиция его уважает, он свободен, всюду ходит – разве мы в таком ходатае не нуждаемся? Это раз. А что он со стражником дружит – чем плохо? Вот и пускай он прежде всего скажет этому стражнику, чтобы его благородие не замечало нас, чтобы осень и зиму не пришлось нам, как в прошлом году, прятаться по оврагам да овинам, мёрзнуть и мокнуть.

– Вот это верно! – сказал Авдей усталым голосом.

– Уж коли они догадались о нас, – продолжает Досекин с усмешкой, – прятаться нам поздно и говорить тут не о чем. О других я ничего не скажу, а Кузин – полезный человек.

– Вот увидите, какой он! – радостно воскликнул Ваня и, обняв Алексея, уверяет его: – Ты не бойся! Мы их живо обратим.

– А ну вас к чертям! – свалив его на землю, весело говорит Алёха. – Разве я боюсь чего? Не из страха говорю, а – время жалко – когда мы их обломаем? Нам самим некогда учиться-то!

Свёртывая папироску, Досекин чётко сказал, не глядя на меня:

– А учить их не наше дело. Это уж Егор Петров учитель.

Порешили на том, чтобы Кузин свёл нас со своей компанией в ближайший свободный день, местом выбрали пустую летом землянку лесорубов в скорняковском лесу.

Ваня сияет, катаясь по песку и выкрикивая:

– Ей-богу – хорошо это, братцы! Будут они нам помощники!

Вдруг зоркий Алексей приложил руку ко лбу, поглядел вдаль и ворчит:

– Стражник...

Видим – из-за мельниц вышел толстоногий и мохнатый серый конь. Мы все в лунном свете, и, должно быть, нас ясно видно на жёлтой полосе песка.

– Разойдёмся? – не то советуя, не то спрашивая, молвил Егор.

Никто не шевельнулся, хотя разойтись нам легко: лес вплоть, а верхом по лесу без дороги далеко не ускачешь.

– Ничего! – шепчет Ваня.

– По-моему, он – дурак! – неожиданно сказал Авдей.

Ждём. Всё более гулко топает конь, покачивается в седле большое стражниково тело, и земля словно отталкивает его чёрную тень. Нам жутко. Сдвинулись теснее, молчим, а где-то заунывно воеет собака, и плеск реки стал ясно звонок.

Блестит медный знак на шапке стражника и ствол ружья в руках у него, видно его чернобородое лицо, бессонные глаза, слышен запах лошадиного пота. Лениво фыркая, конь прядает ушами и, наезжая на нас, нехотя влачит по земле тяжкую тень всадника.

Плывет хриплый Семёнов голос:

– Что за люди?

Ваня, выдвинувшись вперёд, ответил:

– Мы.

Конь остановился, мотая головой.

– Чего делаете?

– Гуляем.

– Беседуем, – добавил Алексей.

Семён, подняв ружьё дулом в небо, наклонился вперёд, поглядел.

– Чужие есть?

Тёзка мой ответил:

– Все свои.

Помолчав, стражник дремотно говорит:

– Шли бы спать. Полуночники! Разве без девок гуляют?

И дёрнул повод.

– Н-но!

Как бы прощаясь с нами, конь круто наклонил голову, тяжело ударил копытом в землю, а не тронулся.

– Н-но! – крикнул стражник, широко разинув рот, толкнул лошадь прикладом в шею и поехал вдоль реки, косясь на неё.

А мы пошли по домам.

– Стара у него лошадёнка, – тихо сказал Авдей.

Все молчат, идя тесной кучкой.

– Ишь хребет-то провис как...

Егор Досекин обернулся назад, поглядел и говорит:

– Видно, на мельницу поедет, пьянствовать...

У меня вдруг вспыхнуло желание догнать стражника и поговорить с ним один на один. Задел он меня чем-то.

– Я ещё погуляю, братцы.

Алексей молча двинулся за мной.

– Нет, – говорю, – я один.

И пошёл прочь от них, а они, стоя на дороге, замахали руками, вполголоса споря о чём-то. Понимаю, что беспокоятся они, и это мне приятно.

– До завтра! – кричит Ваня.

Снял шапку, отмахнулся им и, выйдя на реку, шагаю берегом, против течения. Река вся в луне, точно серебряным молотом кована; течёт и треплет, полощет отражение моё, наполняя душу миром, приводя её в ласковый, грустный строй. Из-за леса облака плывут, верхний ветер режет их своими крыльями, гонит на юг, а на земле ещё тихо, только вершины деревьев чуть шелестят, сбрасывая высохшие листья в светлый блеск воды. Плавают в ночной тишине отдалённые звуки сторожевых колоколов, провожая отошедшие часы; трепетно сверкают в прозрачной высоте одинокие крупные звёзды лунной ночи, и дивит ночь ум и глаз разнообразной игрой света и теней и загадочными звуками своими. Напилась земля за день солнцем, крепко спит, пышно одетая в травы и цветы, а леса молча сосут её тёплую, сочную грудь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.